

Моим родителям, Франсине и Ивану
Перрен, Патрисии Лопез «Паките» и
Софи Долл

1

Минус один человек – и мир обезлюдел.

Мои соседи ничего не боятся. Забот у них нет, они не влюбляются, не грызут ногти, не верят в случай, не дают обещаний, не шумят, не страхуются, не плачут, не ищут ключи, очки, пульт от телевизора, детей и счастье.

Они не читают, не платят налоги, не соблюдают режим, не имеют предпочтений, не меняют мнение, не застилают постель, не курят, не составляют списков, не отмеряют семь раз, прежде чем отрезать. У них не бывает заместителей.

Они не подхалимы и не честолюбцы. Они не злопамятны, не мелочны, не благородны, не ревнивы, не выглядят неопрятно. Они чисты, возвышенны, забавны, упорны, ворчливы, лицемерны, добры, жестоки, слабы, злы, лживы, вороваты, азартны, храбры. Некоторые из них – дармоеды, другие – развратники, третьи – оптимисты.

Все они – мертвецы.

Чем один отличается от другого? Качеством гроба – из дуба, сосны или красного дерева, – в котором покоятся.

2

Что мне делать теперь, когда я не слышу твоих шагов и не знаю, чья жизнь утекает – твоя или моя.

Меня зовут Виолетта Туссен. Я была дежурной по железнодорожному поезду, а теперь работаю смотрительницей кладбища. Здесь я и живу.

Я пробую жизнь на вкус, пью ее мелкими глоточками, как жасминовый чай с медом. Вечером, когда ворота моего кладбища закрыты, а ключ повешен на ручку двери в ванную, наступает райское блаженство.

Нет, не такое, как у моих соседей.

Я говорю о рае для живых – стаканчике портвейна 1983 года. Каждый год, 1 сентября, Жозе-Луиш Фернандез дарит мне бутылку, и я открываю это вместилище солнца, бабьего лета, счастья ровно в семь вечера, в дождь, снег или ветер.

Два наперстка рубиновой влаги. Кровь виноградников Порто. Я закрываю глаза. И наслаждаюсь. Один глоток – и вечер наполняется радостью. Всего два наперстка, потому что я люблю легкое опьянение, но не алкоголь.

Жозе-Луиш Фернандез весь год, раз в неделю, приносит цветы на могилу супруги, Марии Пинто (1956–2007). В июле он уезжает в отпуск, доверив священнодействовать мне. Бутылка портвейна – знак его благодарности.

Мое настоящее – подарок небес. Так я говорю себе каждое утро, открыв глаза.

Я была очень несчастна, почти уничтожена. Опустошена. Как мои соседи, за которыми я приглядываю, – и даже хуже. Сам-то организм функционировал, но на «холостом ходу». Куда-то подевался весь

объем души, а ведь она, как говорят, весит ровно двадцать один грамм – у толстых и тощих, высоких и низких, молодых и старых.

Хотите знать, что меня спасло? Все очень просто. В отличие от многих, я никогда не упивалась своими бедами и решила положить им конец.

Началась моя жизнь очень плохо. Я родилась от неизвестных родителей, в Арденнах, на севере департамента, в местечке на границе с Бельгией. Тамошний климат называется «умеренно континентальный» – сильные осадки осенью и частые заморозки зимой. Я всегда представляла себе, что именно об этих местах написана «Равнинная страна» Жака Бреля, «где небо близко так, что вот подать рукой, и серый небосвод сливается с рекой».

В день своего рождения я не закричала. И меня отложили в сторону, как посылку весом 2,670 кг, без штампа и фамилии адресата. Наверное, решили сначала заполнить бумаги, чтобы объявить меня безвременно ушедшей.

Мертворожденной. Ребенок без искры жизни и фамилии.

Акушерка торопилась домой и, недолго думая, назвала меня Виолеттой. Полагаю, вся я, с головы до маленьких пяточек, была именно такого цвета.

Потом кожа порозовела, пришлось заполнять свидетельство о рождении, но женщина и не подумала «переназвать» младенца.

Меня положили на батарею, и я согрелась. Мать не хотела ребенка, и я ужасно мерзла у нее в утробе. Жар, исходящий от чугунной гармошки, вернул меня к жизни, поэтому я так люблю лето и не упускаю случая подставить лицо первым солнечным лучам, совсем как подсолнух.

В девичестве я была однофамилицей Шарля Трене^[1], фамилию наверняка придумала та же акушерка. Видимо, была поклонницей певца. Потом я его тоже полюбила и долго считала кем-то вроде дальнего родственника, таким «американским дядюшкой». Если

напеваешь себе под нос мелодии любимого исполнителя, чувствуешь родство душ.

Фамилию Туссен^[2] я взяла, выйдя замуж за Филиппа Туссена. Нужно было сразу насторожиться. Некоторые мужчины, которых зовут Прентан^[3], бьют жен. У многих мерзавцев красивые имена.

Я не тосковала по матери. Разве что во время болезни, если случался сильный жар. Я быстро росла. Тянулась вверх, словно Провидение наградило меня гордой спиной, чтобы компенсировать отсутствие родителей. Я прямая, как струнка. Не гнусь, не склоняюсь, не прогибаюсь. Даже в дни печали. Меня часто спрашивают: «Вы, случайно, не занимались классическим балетом?» – «Нет... – отвечаю я, – осанка – от повседневных забот, они заменили мне станок».

3

Пусть заберут меня или моих родных, я не боюсь, ведь однажды все кладбища превратятся в сады.

В 1997 году наш железнодорожный переезд автоматизировали, и мы с мужем лишились работы. О нас написали газеты, назвали «побочными жертвами прогресса, последними служащими железной дороги, которые вручную поднимали и опускали шлагбаум». К статье прилагалось фото. Филипп Туссен обнял меня за талию и принял красивую позу. Я улыбаюсь, но до чего же у меня грустные глаза на этом снимке!

В день выхода статьи Филипп Туссен вернулся из почившего в бозе Государственного бюро по трудоустройству в полном смятении: он только что понял, что ему придется работать. Филипп привык, что за него все делаю я. Он был уникальным лентяем и, конечно же, достался мне, кому же еще!

Желая приободрить любимого, я протянула ему листок бумаги: «Смотритель кладбища, профессия будущего». Он посмотрел на меня, как на буйнопомешанную. В 1997-м он смотрел так на меня каждый день. Разве разлюбивший мужчина смотрит так на женщину, которую когда-то любил?

Я объяснила, что случайно увидела это объявление, что мэрия Брансьон-ан-Шалона ищет супружескую пару для работы на кладбище и что мертвые живут по расписанию и шуметь будут уж точно меньше поездов. Что я поговорила с мэром и он готов немедленно нанять нас.

Муж не поверил, сказал, что таких случайностей не бывает и он скорее сдохнет, чем согласится на ремесло падальщиков. А потом включил приставку, чтобы сыграть в *SuperMario64*^[4], поставив перед

собой сверхзадачу собрать все 120 силовых звезд. Я же хотела схватить за хвост одну-единственную – правильную. Об этом и думала, глядя, как мчится Марио, чтобы спасти принцессу Персик, похищенную Великим Королем Демонов.

Я не сдалась. Сказала, что на кладбище у каждого из нас будет зарплата – и намного выше, чем на переезде, вдобавок у нас будет симпатичное служебное жилье, а налоги платить не придется. Мы наконец-то покинем дом, в котором прожили столько лет, хибарку, где зимой крыша протекала, как старая лодка, а летом было холодно, как на Северном полюсе. Я убеждала Филиппа, что нам необходимо начать все сначала, обещала повесить красивые занавески, чтобы не видеть «соседей» – кресты, вдов и все остальное. Занавески станут границей между нашей жизнью и чужой скорбью. Я могла бы сказать Туссену правду: занавески отделят мою печаль от всей остальной, накопившейся в нашем мире. Могла бы, но не стала. Понимала, что должна притворяться, иначе он не согласится переехать.

Главный довод я приберегла на самый конец – пообещала, что ему НИЧЕГО не придется делать. Ремонт, могилами и всем обустройством занимаются три могильщика, а смотритель только открывает и закрывает ворота. Режим работы не слишком утомительный. Отпуск и уик-энды такие же длинные, как железнодорожный мост-виадук в Бельгард-сюр-Вальсерине. Я беру все на себя. Все-все.

СуперМарио остановился. Принцесса полетела кубарем.

Перед сном Филипп Туссен перечитал объявление. «Смотритель кладбища, профессия будущего».

Наш переезд располагался в Мальгранж-сюр-Нанси. В тот период моей жизни я не жила. Правильнее было бы сказать «в тот период моей смерти». Я вставала, одевалась, работала, ходила за покупками, спала. Приняв таблетку снотворного. Или две. Иногда три. И замечала, что муж смотрит на меня как на безумную.

График моей работы был чудовищно однообразным. Я опускала и поднимала шлагбаум всю неделю, по пятнадцать раз на дню. Первый

поезд проходил через нас в 04.50, последний – в 23.04. Очень скоро у меня выработался автоматизм, мозг в нужный момент выдавал звоночек, и я всегда слышала его с опережением. Эту каторгу следовало делить на двоих, но Филипп только гонял на мотоцикле и заводил новых любовниц.

Пассажиры в окнах вагонов навевали мне мечты, хотя мимо следовали только местные поезда. Они шли из Нанси в Эпиналь, делая десятиминутные остановки в небольших местечках, чтобы оказать вспомоществование «аборигенам». И все-таки я завидовала мужчинам и женщинам, у которых была цель и они могли ее осуществить. Я воображала, что эти люди назначили кому-то свидание и этот кто-то ждет их. Боже, как же мне хотелось уподобиться им!

Через три недели после выхода объявления мы отправились в Бургундию. Сменили серый цвет города на зелень природы и ни с чем не сравнимый запах железной дороги.

Пятнадцатого августа 1997 года мы прибыли в Брансьон-ан-Шалон. Во Франции настала пора отпусков. Французы покидали «насиженные места», чтобы увидеть море, горы и водопады. Кладбищенские птички, вившие гнезда на деревьях, улетели. Кошки, бродившие между горшками роз, исчезли. Даже муравьям и ящерицам было слишком жарко, мрамор памятников стал обжигающе горячим. Могильщики взяли отпуск, не стало даже усопших. Я бродила по аллеям, читая фамилии людей, которых мне не суждено было узнать, но чувствовала себя прекрасно. На своем месте.

4

Бытие вечно, жизнь преходяща.
Вечная память будет ее посланием.

Я сама открываю и закрываю тяжелую решетку кладбищенских ворот, если только замочная скважина не залеплена жвачкой – подростки часто так развлекаются.

Часы работы меняются в зависимости от времени года.

1 марта – 31 октября: 08.00–19.00.

1 ноября: 07.00–20.00.

2 ноября – 28 февраля: 09.00–17.00.

29 февраля из расписания выпало.

Я взяла на себя обязанности мужа после его отъезда, а если точнее – после того, как он пропал. Имя Филиппа Туссена фигурирует в национальной картотеке жандармерии в графе «исчезновение при сомнительных обстоятельствах».

В поле моего зрения осталось много мужчин. Три могильщика: Ноно, Гастон и Элвис. Три сотрудника похоронной службы: братья Луччини – Пьер, Поль и Жак, а еще отец Седрик Дюрас. Все они заходят ко мне по несколько раз на дню, чтобы выпить стаканчик или перекусить на скорую руку. Помогают мне в саду и на огороде, если требуется перетащить мешки с компостом или починить кран. Я считаю их не коллегами – друзьями. Они могут заглянуть на кухню в мое отсутствие, выпить кофе, вымыть чашку и отправиться дальше по собственным делам.

Люди испытывают отвращение, гадливость к ремеслу могильщика, но те, кто работает на моем кладбище, – самые милые и располагающие к себе мужчины на свете.

Больше всех я доверяю Ноно. У этого прямодушного человека радость жизни бурлит в крови, все его веселит, он не знает слова

«нет», правда, никогда не присутствует на похоронах ребенка. Это он оставляет другим. «Тем, кому хватает мужества» – так он говорит. Ноно напоминает мне Жоржа Брассенса. Он смеется над этим сравнением: «Ты одна это замечаешь!»

Гастон совсем другой, он – мсье Неуклюжесть и всегда выглядит пьяненьким, хотя пьет только воду. Его движения хаотичны. На похоронах Гастон неизменно стоит между Ноно и Элвисом – на случай потери равновесия. Земля вечно дрожит у него под ногами. Он опрокидывает все, что попадает под руку, роняет вещи, наступает на них, падает. Когда Гастон заходит ко мне, я всегда боюсь, что он что-нибудь разобьет и поранится. Так оно и происходит.

Элвиса все зовут Элвисом из-за Элвиса Пресли. Он не умеет ни читать, ни писать, зато знает наизусть все песни своего идола. Слова наш Элвис произносит неразборчиво, понять, поет он на английском или на французском, невозможно, но сердца вкладывает много. *Love me tender, love me trou...*^[5]

Братья Луччини – погодки: младшему тридцать восемь, среднему тридцать девять и старшему 40 лет. Они потомственные «похоронщики» Брансьона и владельцы морга, примыкающего к их магазину. Ноно рассказал мне, что помещения разделяет тамбур. Опечаленных родственников принимает Пьер, старший брат. Поль – бальзамировщик и работает в подвале. Жак сидит за рулем катафалка, он возит покойников в последний путь. Ноно называет братьев «апостолами».

Нашего кюре зовут Седрик Дюрас. У Господа есть вкус, хоть Он и не всегда справедлив. С появлением нового кюре на многих местных дам снизошло Божественное откровение, и в воскресенье, на утренней службе, почти все места на скамьях теперь заняты.

Я не хожу в церковь – посещение храма было бы равносильно сексу с коллегой, но признаний выслушиваю больше, чем отец Седрик в исповедальне. Близкие изливают душу в моем скромном доме и на кладбищенских аллеях, иногда по два раза – приходя на

могилу и уходя. Усопшие молчаливы. Таблички на памятниках, цветы, фотографии важны для членов семьи и друзей. Живым хочется постоять у могилы, рассказать мне, какой была жизнь *до*.

Моя работа требует сдержанности и умения общаться, не впадая в излишнюю чувствительность. Не сопереживать для меня – все равно что летать в космос, стоять у операционного стола, спускаться в жерло вулкана или разгадывать геном человека. Я никогда не плачу на людях, только до или после похорон, но не во время. Моему кладбищу триста лет. Первой на нем похоронили Диану де Виньрон (1756–1773). Она умерла родами, в возрасте семнадцати лет. Если провести подушечками пальцев по могильной плите из камня-сырца, можно «прочитать» ее имя и фамилию, как делают слепые, владеющие азбукой Брайля. Диану не эксгумировали, хотя мест на моем кладбище осталось немного. Ни один мэ́р из всей череды сменявших друг друга народных избранников не осмелился нарушить покой первой обитательницы кладбища, тем более что с именем Дианы связана старинная легенда. Жители Брансьона утверждают, что не раз видели ее в «одеждах из света» на аллеях и перед витринами магазинов в центре города. Я хожу на чердачные распродажи и часто нахожу гравюры XVIII века и открытки с изображением Дианы-призрака. Выглядит она на этих снимках не слишком авантажно.

О могилах вообще рассказывают много историй – живые любят досочинять жизнь ушедших.

Существует легенда Брансьона № 2. Она о Рен Дюша (1961–1982), которая покоится на участке «Кедры», аллея 15. С фотографии смотрит молодая улыбающаяся брюнетка, попавшая в аварию на выезде из города. Молодняк клянется, что ее призрак часто является проезжающим на обочине дороги, рядом с местом катастрофы.

Миф о «дамах в белом» бытует во всех уголках планеты. Призраки женщин, разбившихся на машине, посещают мир живых, их неприкаянные души летают по замкам и кладбищам.

Легенда о Рен получила материальное «подтверждение»: ее могила тронулась с места. Ноно и братья Луччини уверены: все дело в грунте, подвижки нередки, когда под склепами скапливается вода.

За двадцать лет я многое повидала на моем кладбище. Иногда по ночам тени занимаются любовью на могилах, но они не призраки.

Ничто не вечно (за исключением легенд) – даже купленные навечно места на кладбище. Можно купить место на пятнадцать, тридцать, пятьдесят лет или навечно, но с вечностью придется обращаться осторожно: если по истечении тридцати лет за могилой перестают ухаживать и она приобретает обветшалый, малоприличный вид, если в нее давно никого не подхоранивали, коммуна получает право на повторное использование. Останки первого «жильца» помещают в оссуарий, находящийся в глубине кладбища.

Я не раз была свидетельницей такой операции. Никто не возражал – мертвых уподобляли забытым и не востребуемым вещам.

Со смертью всегда так: чем она «старше», тем меньше власти имеет над живыми. Время убивает жизнь и разрушает смерть.

Мы четверо – я и трое могильщиков – делаем все, чтобы на нашем кладбище не было заброшенных могил. Нам нестерпим вид таблички с муниципальным объявлением: «Эта могила подлежит ремонту. Просим срочно связаться с мэрией». А имя того, кто лежит под плитой, все еще можно разобрать на памятнике!

На кладбище полно эпитафий – люди как будто заклинают время, чтобы оно замедлило ход, позволило им уцепиться за воспоминания. Мне больше всего нравится вот эта надпись: «Смерть начинается в тот момент, когда о вас перестают мечтать». Я прочла ее на могиле молодой медсестры Мари Дешан, скончавшейся в 1917 году. Мемориальную доску установил в 1919-м какой-то солдат. Проходя мимо, я всякий раз спрашиваю себя: «Интересно, он долго о ней мечтал?»

Чаще всего в качестве «последнего прости» выбирают фразу из песни Жан-Жака Гольдмана^[6] «Без тебя»: *Что бы я ни делал, где бы я*

ни был, ты не исчезаешь, я думаю о тебе; или слова Франсиса Кабреля^[7]: Между собой звезды беседуют лишь о тебе.

У меня очень красивое кладбище. Аллеи обсажены столетними липами. Большая часть могил украшена цветами.

Я продаю растения в горшках – выставляю их перед домом, чтобы люди выбирали, а когда они слегка теряют товарный вид, отношу их на «ничейные» захоронения.

А еще я посадила сосны, обожаю, как они пахнут летом.

С 1997 года деревья здорово выросли и придают моему кладбищу шик. Содержать его в порядке значит заботиться о мертвых, выказывать им уважение. Если они не имели этого при жизни, пусть хоть после смерти порадуются.

Уверена, у нас лежит много негодяев, но смерть не делает различий между добрыми и злыми. И потом, кто хоть раз в жизни не повел себя по-свински?

Филипп Туссен, в противоположность мне, сразу возненавидел кладбище, этот маленький городок, Бургундию, природу, старые камни, белых коров и местных жителей.

Я только начала разбирать коробки, когда он оседлал мотоцикл и отправился прошвырнуться. Иногда Филипп отсутствовал до утра, со временем стал исчезать на неделю-две-три. А однажды не вернулся. Жандармы не поняли, почему я так долго не заявляла об исчезновении мужа. Мне не пришло в голову объяснить, что он «испарился» много лет назад – в те времена, когда еще ужинал за моим столом. Через месяц, осознав, что Филипп точно не вернется, я почувствовала себя одинокой, как выморочная могила. Такой же серой, тусклой, расшатанной. Готовой, чтобы меня разъяли на части, а останки запихнули в оссуарий.

5

Книга жизни послана нам свыше, ее не дано закрывать и открывать самовластно. Возжелаешь вернуться к странице любви – глядь, и оказался на странице смерти.

Я встретила Филиппа Туссена в 1985 году в Шарлевиль-Мезьере, в ночном клубе «Тибурен».

Он сидел у стойки бара. Я наливала. Соврав насчет возраста, можно получить немудрящую работу: сосед по общежитию, мой приятель, подделал бумаги, превратив меня в совершеннолетнюю.

Я всегда была человеком без возраста, мне давали и четырнадцать, и двадцать пять. Носила исключительно джинсы и футболки, короткую стрижку и колечки не только в ушах, но повсюду – даже в носу, была тоненькой и красила глаза в стиле Нины Хаген^[8]. Школу я бросила, не научившись толком ни читать, ни писать. Зато умела считать. Я успела прожить множество жизней и работала лишь для того, чтобы как можно скорее уйти из общежития, найти жилье и самой за него платить.

В 1985-м ровными у меня были только зубы. В детстве я жаждала занять такую же ослепительную улыбку, как у моделей из гляцевых журналов. Когда сотрудницы опеки инспектировали мои приемные семьи и спрашивали, в чем я нуждаюсь, ответ был неизменным: «Хочу к стоматологу!» – как будто вся их последующая жизнь зависела от того, насколько безупречной будет моя улыбка.

Подружек у меня не было – я слишком походила на мальчика и потому в каждой новой семье привязывалась к названным сестрам, но неизменные расставания, терзавшие душу, выработали жесткую установку: *никогда ни к кому не привыкай*. Я считала, что бритая наголо голова защитит меня, придаст мальчишечьей дерзости и

стойкости. Неудивительно, что девочки меня сторонились. Я занималась любовью, чтобы быть «как все», но ничего возвышенного в так называемой любви не находила и удовольствия не получала. Зачем я это делала? Мечтала о переменах, хотела получить новую шмотку, косячок, приглашение на вечеринку, ощутить тепло чужой ладони. И больше всего жаждала любви, «как в сказках»: «Они обвенчались и завели много, много, много...»

Итак, Филипп Туссен сидел спиной к стойке, пил виски-колу без льда и наблюдал за приятелями на танцполе. Внешне он напоминал ангела. Этакое Мишеля Берже^[9] в цвете. Длинные блондинистые кудри, голубые глаза, светлая кожа, орлиный нос, алые губы, напоминающие июльскую зрелую клубничину. Он был в джинсах, белой футболке и черной кожаной куртке. Высокий, атлетически сложенный, идеальный. При первом же взгляде на Филиппа сердце ухнуло вниз, как поет мой воображаемый родственник дядюшка Шарль Трене. От меня он все получит даром – даже любимую выпивку.

Вокруг красавчика вились очаровательные блондинки. Кружили, как мухи вокруг тухлятины, но он изображал полное безразличие, зная, что ему достаточно моргнуть, и все желания будут исполнены.

Я видела только золотистые кудри, то и дело менявшие цвет – зеленый-красный-синий – под лучами софитов. Так прошел час. Иногда он наклонялся к очередной обожательнице, шептавшей ему на ухо нежные слова, и являл мне совершенный профиль.

А потом повернулся, посмотрел на меня – и больше не отводил взгляда. С этого момента я стала его любимой игрушкой.

Сначала я решила, что интересую его, потому что все время бесплатно подливаю в стакан спиртное. Я старалась, чтобы он не заметил моих обгрызенных ногтей и видел только ровные белые зубы. Красавчик выглядел как парень из хорошей семьи. Тогда все, кроме ребят из общежития, казались мне «золотой молодежью».

Вокруг незнакомца образовался затор из наивных девиц, совсем как на Дороге солнца^[10], где в выходные собирается море машин, но

он продолжал пялиться на меня, не скрывая вожеления. Я прислонилась к бару, решив удостовериться, что не ошибаюсь, вставила в стакан соломинку и подняла глаза. Спросила: «Хотите чего-нибудь другого?», не расслышала ответа, нагнулась и крикнула: «Ну так что?» Он шепнул мне на ухо: «Хочу тебя...»

Я убедилась, что хозяин не смотрит в нашу сторону, и плеснула себе бурбона. После первого глотка перестала краснеть, сделала второй и отлично себя почувствовала, третий окрылил меня, придал храбрости. «Когда освобожусь, можем выпить по стаканчику».

Он сверкнул белозубой улыбкой.

Филипп Туссен протянул руку, коснулся моих пальцев, и я поняла, что моя жизнь изменится. Почувствовала кожей. Филипп Туссен был старше меня на десять лет, и разница в годах придавала ему значительности. Я уподобилась бабочке, глядящей на звезду.

6

Ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос Его и покинут могилы^[11].

К моему дому можно подойти с двух сторон. Элиана затыкала и потрусилась к двери, выходящей на улицу. Ее хозяйка Марианна Ферри (1953–2007) лежит на участке «Бересклеты». Элиана появилась на кладбище в день похорон и больше не уходила. Несколько первых недель я кормила ее на могиле хозяйки. Через какое-то время она стала провожать меня до дома и прижилась. Имя ей дал Ноно – Элианой звали героиню Изабель Аджани в «Убийственном лете»^[12], а у этой собаки были голубые глаза, и ее хозяйка умерла в августе.

За двадцать лет на моем кладбище одновременно с хозяевами появились три пса и стали моими – в силу обстоятельств. Теперь у меня только Элиана.

Снова стучат в дверь. Сомневаюсь, стоит ли открывать – на часах семь утра. Я пью чай, мажу тосты соленым маслом и клубничным вареньем, его мне подарила Сюзанна Клерк, чей муж (1933–2007) покоится на участке «Кедры». Я слушаю музыку. В свободные от работы часы я всегда ее слушаю.

Встаю. Выключаю радио. Спрашиваю:

– Кто там?

Негромкий мужской голос отвечает:

– Извините, мадам. Я увидел свет и...

Слышу, как визитер вытирает ноги о половик.

– Мне нужно справиться о человеке, который здесь похоронен.

Я могла бы напомнить, что мы начинаем работать в восемь утра, и отослать его.

– Сейчас, подождите две минуты.

Я поднимаюсь в спальню, открываю зимний шкаф. Снимаю с вешалки халат и одеваюсь. У меня два шкафа, я называю их «зима» и «лето». К временам года это отношения не имеет – только к обстоятельствам. В зимнем висит классическая одежда темных цветов, она для чужих глаз. В летнем я держу светлые и яркие вещи, предназначенные исключительно для моих. Я ношу «лето» под «зимой» и снимаю ее, когда остаюсь одна.

Итак, я надеваю серый стеганый халат поверх розового шелкового дезабилье, спускаюсь, отпираю дверь и обнаруживаю на пороге незнакомца лет сорока. На меня смотрят черные глаза.

– Здравствуйте, простите, что побеспокоил так рано.

На улице еще темно и холодно. Ночь подморозила землю. Мужчина выдыхает пар, похожий на дымок от сигареты. От посетителя пахнет табаком, корицей и ванилью.

Я лишилась дара речи. Так бывает, когда неожиданно встречаешь человека, с которым давно не виделся. Поздно он появился в моей жизни. Двадцать лет назад *все* могло получиться иначе. Что за странная мысль? Откуда такое удивление? Неужели дело в том, что миллион лет никто, кроме пьяных подростков, не стучал в дверь с улицы, все посетители приходят со стороны кладбища?

Я впускаю «гостя», он смущенно благодарит, за что получает чашку кофе.

В Брансьон-ан-Шалоне я знаю всех. Даже те, кто еще не хоронил у меня никого из близких, хоть раз да прошли по аллее, провожая в последний путь друга, соседа, мать коллеги.

Этого человека я вижу впервые. В его речи слышен едва уловимый средиземноморский акцент, он иначе интонирует фразу. У мужчины темные волосы, настолько темные, что едва тронувшая виски седина резко выделяется на их фоне. У него крупный нос, мясистые губы и мешки под глазами. Он немножко похож на Сержа Генсбура: не дружит с бритвой, но обаяния – море. Я замечаю красивые руки с

длинными пальцами, он греет их о чашку, дует на кофе и пьет мелкими глотками.

Не знаю, зачем он явился, я впустила его в дом, потому что эта комната не совсем моя, она принадлежит всем. Можно сказать, что я превратила муниципальный зал ожидания в гостиную, совмещенную с кухней. Все случайные люди и завсегдаи имеют право на «входной билет».

Мужчина оглядывается по сторонам. Комната в двадцать пять квадратных метров выглядит как мой зимний шкаф. Пустые стены. Нет ни цветастой скатерти, ни синего дивана, только клееная фанера и стулья. Ничего лишнего, показного. Кофеварка, белые чашки и крепкие спиртные напитки – для безнадежных случаев. Здесь я выслушиваю откровения, на меня выплескиваются слезы и гневное отчаяние, сюда доносится веселый смех могильщиков.

Моя спальня находится на втором этаже, и на этот «тайный задний двор» ходу нет никому. Спальня и ванная – две бонбоньерки в пастельных тонах. Розовый пудровый, зеленый миндальный и небесно-голубой создают весеннее настроение. С первым лучом солнца я распахиваю окна настежь, не опасаясь, что снизу кто-нибудь меня заметит.

Никто не удостоился чести взглянуть на мою спальню в ее нынешнем виде. Сразу после исчезновения Филиппа Туссена я ее перекрасила, повесила кружевной тюль и новые шторы, поставила белую мебель и широкую кровать со швейцарским матрасом, обнимающим тело спящего. Мое, и только мое тело.

Незнакомец допивает кофе и говорит:

- Я из Марселя. Бывали там?
- Я каждый год езжу в Сормиу.
- В бухточку?
- Да.
- Забавное совпадение.
- Я не верю в совпадения.

Он что-то ищет в кармане джинсов. Мои мужчины не носят джинсов. Ноно, Элвис и Гастон ходят в голубых рабочих комбинезонах, а братья Луччини и отец Седрик – в перкалевых брюках.

Незнакомец разматывает шарф, ставит на стол пустую чашку.

– Мы с вами похожи, я тоже довольно рациональный человек. И комиссар.

– Коломбо?

– Нет... – Он впервые улыбается. – Тот был инспектором.

Он собирает указательным пальцем сахарные крошки, рассыпавшиеся по столу.

– Моя мать – по непонятной причине – изъявила желание покоиться на этом кладбище.

– Она живет поблизости?

– Нет, в Марселе. Она умерла два месяца назад, успев изъявить последнюю волю.

– Сочувствую... Хотите капельку алкоголя в кофе?

– Вы всегда подпаиваете людей с раннего утра?

– Случается. Как зовут вашу мать?

– Ирен Файоль. Она завещала, чтобы ее кремировали... а урну поставили на могиле некоего Габриэля Прюдана.

– Прюдана? Габриэль Прюдан, 1931–2009. Аллея 19, участок «Кедры».

– Вы помните имена всех обитателей кладбища?

– Почти...

– И дату смерти, и место?

– Аналогично.

– Кем был этот Габриэль Прюдан?

– На могилу время от времени приходит женщина... Думаю, дочь. Он был адвокатом. На черной мраморной плите нет ни портрета, ни эпитафии. Дня похорон я не помню, но могу заглянуть в регистрационный журнал – если хотите.

– Вы все записываете?

– То, что касается похорон и эксгумаций.
– Не знал, что это входит в ваши обязанности.
– Не входит. Но жизнь стала бы очень скучной, делай мы лишь то, что положено.

– Забавно слышать такое из уст... как называется ваша должность? «Смотритель кладбища»?

– Почему? Вы считали, что я с утра до вечера лью слезы? Что я создана из рыданий и печали?

Я доливаю ему кофе, а он спрашивает, повторив вопрос дважды:

– Вы живете одна?

Я киваю.

Открываю ящики, нахожу тетрадь за 2009 год. Ищу и сразу нахожу фамилию: Прюдан, Габриэль. Начинаю читать:

18 февраля 2009-го, похороны Габриэля Прюдана, проливной дождь.

Присутствовало сто двадцать восемь человек, в том числе бывшая жена и две дочери – Марта Дюбрёй и Хлоэ Прюдан.

По желанию усопшего ни цветов, ни венков.

Семья установила табличку, на которой написано:

В знак уважения к
Габриэлю Прюдану,
храброму адвокату.

«Смелость для адвоката важнее всего, без нее остальное не имеет смысла. Талант, культура, знание законов полезны, но без смелости в решающий момент остаются только слова, пустые фразы, которые вспыхивают и умирают».

Робер Бадинтер^[13].

Ни кюре, ни распятия. Кортёж пробыл на месте полчаса. Когда два служащих похоронного бюро опустили гроб в могилу, все разошлись. Дождь лил как из ведра.

Я закрываю тетрадь. Комиссар выглядит изумленным, он погружен в свои мысли, машинальным жестом приглаживает волосы.

– Не понимаю, почему моя мать хочет лежать рядом с этим человеком.

Его взгляд скользит по белым стенам, он смотрит на меня, как будто не верит своим ушам, спрашивает, кивком указав на мои записи:

– Можно я почитаю?

Вообще-то, я доверяю только родственникам, но после недолгих колебаний подталкиваю к нему тетрадь, и он начинает листать страницы, то и дело поднимая глаза, как будто у меня на лбу тоже что-то написано о событиях 2009 года. Может показаться, что тетрадь – всего лишь предлог, чтобы получше рассмотреть меня.

– Вы описываете все похороны?

– Почти все. Те, кто не сумел поприсутствовать, заходят сюда, и я рассказываю, как все прошло, опираясь на заметки... Вы уже кого-нибудь убили? Я имею в виду злоумышленника, преступника?

– Нет.

– У вас есть пистолет?

– Конечно, но я беру его только на задания. Но сегодня пистолета при мне нет.

– Вы привезли урну с прахом?

– Нет. Оставил в крематории. На время... Пока не решу, стоит ли выполнять желание матери.

– Он незнакомец для вас, не для нее.

Комиссар встает.

– Могу я увидеть могилу?

– Конечно. Возвращайтесь через полчаса. Я никогда не разгуливаю по моему кладбищу в халате.

Он улыбается – второй раз за время нашего странного свидания – и выходит за дверь. Я зажигаю свет. Рефлекторно. Я никогда не делаю этого, когда кто-то входит в комнату, только когда выходят. Свет восполняет отсутствие. Старая привычка ребенка без роду-

племени.

Через тридцать минут он ждет меня в машине, припаркованной у ворот. На номерном знаке написано: Буш-дю-Рон, 13. Кажется, мой полицейский гость успел вздремнуть – на щеке отпечатался след шарфа.

Я надела темно-синее пальто на алое платье и застегнулась на все пуговицы, до самой шеи. Стала как ночь, скрывающая лето. Не хотела изумлять чужого человека.

Мы шли по аллеям, и я рассказывала: кладбище разбито на четыре крыла: «Лавры», «Бересклет», «Кедры» и «Тис», у нас два колумбария и два Сада Воспоминаний. Он спрашивает, как долго я занимаюсь «этим». Я отвечаю: «Двадцать лет». Говорю, что раньше была дежурной по переезду. Он интересуется, каково это – сменить поезда на катаfalки? Не знаю, как объяснить. Слишком много всего случилось между двумя жизнями. Станные вопросы для рационального комиссара.

Мы наконец дошли до могилы Габриэля Прюдана. Комиссар вдруг побледнел, словно пытался собраться с мыслями на могиле незнакомца, который мог оказаться его отцом, дядей, братом. Мы долго молчали, не двигаясь с места, потом я не выдержала – потеряла замерзшие ладони.

У меня есть правило: я никогда не составляю компанию посетителям. Отвожу их к могиле и удаляюсь, но этого человека почему-то не могу оставить одного. Через минуту, показавшуюся мне вечностью, он сообщает, что возвращается в Марсель. На вопрос: «Когда вернетесь с урной?» – ответа я не получаю.

7

Мне всегда будет не хватать человека,
чья улыбка освещала мою жизнь.
Тебя.

Я пересаживала цветы на могиле Жаклин Виктор Дансуан (1928–2008) и Мориса Рене Дансуана (1911–1997). Красивый белый верещатник похож на два обломка морского утеса, помещенные в горшок. Это растение хладостойкое, как хризантемы и суккуленты. Мадам Дансуан любила белые цветы. Она каждую неделю навещала могилу мужа. Мы болтали, но общаться начали, когда Жаклин немножко отошла душой. В первые годы она чувствовала себя уничтоженной. Несчастье либо отбивает у человека желание разговаривать, либо делает его не в меру болтливым. Постепенно Жаклин снова научилась складывать слова в простые фразы, интересоваться новостями окружающих, то есть живых.

Не знаю, почему говорят «на могиле», по-моему, «у края могилы» или «напротив могилы» звучит логичнее. *На* могилу наступают плющ, ящерики, коты и собаки. Мадам Дансуан часто бывала на кладбище. После ее смерти дети приходят раз в год и всегда просят меня «не оставить родителей вниманием».

Бледное солнце октябрьского дня никак не раскочегарится, руки у меня замерзли, но я с удовольствием рыхлю землю пальцами, как делаю в своем саду.

В нескольких метрах от меня Гастон и Ноно копают могилу и рассказывают, как провели вечер. Ветер доносит обрывки фраз: «А жена мне и говорит... по телику... зуд... не стоило бы... шеф появится... омлет у Виолетты... я его знал... хороший был парень... кудрявый такой, да?.. Да, он наш ровесник... это было мило... его жена... ломака... песня Брежнев... нечего изображать богачей, если в карманах

пусто... ссать хочется до ужаса... страх... простата... успеть бы в магазин до закрытия... яйца для Виолетты... вот ведь несчастье...»

Завтра у нас похороны. В 16.00. Новый *резидент* пропишется на кладбище. Мужчина пятидесяти пяти лет умер из-за того, что слишком много курил. Так сказали врачи. Они никогда не признают, что человек может уйти из жизни, если его не любят, не слышат, если пришло слишком много счетов, если переборщил с кредитами, если дети выросли и покинули родительский дом, не простившись. Мужчин губит жизнь, сотканная из упреков и неудач. Конечно, он курит и выпивает, чтобы разогнать тоску, иначе и удавиться недолго.

Пожалуй, есть одна-единственная вещь, от которой еще никто не умирал, – смех.

Чуть дальше на аллее две дамы-коротышки, мадам Пинто и мадам Дегранж, убирают могилы своих мужей. Они приходят каждый день, поэтому им приходится придумывать, что бы еще вычистить, наведенный порядок напоминает обстановку магазина, торгующего коврами покрытиями и паркетом.

Люди, ежедневно навещающие усопших, сами похожи на призраков, застрявших между жизнью и смертью.

Мадам Пинто и мадам Дегранж худобой напоминают зимних воробышков. Можно подумать, что их кормили мужья, пока были живы. Я знаю обеих с тех пор, как начала работать на кладбище. Больше двадцати лет они каждое утро отправляются за покупками и обязательно заворачивают ко мне. Не знаю, что это, любовь или зависимость. Или и то и другое, вместе взятое. Не уверена, притворяются дамы или их нежность к ушедшим спутникам жизни неподдельна.

Мадам Пинто – португалка и, как и большинство соотечественников, живущих в Брансьоне, проводит лето на родине, и по возвращении ей есть чем заняться. В начале сентября она приезжает – такая же худая, но дочерна загорелая и со сбитыми коленями. В Португалии мадам Пинто приводит в должный вид захоронения родных и друзей. В ее отсутствие я поливаю цветы, а

она в знак благодарности дарит мне пластиковую коробку с куколкой в национальном костюме. Каждый год, получив сувенир, я говорю: «Спасибо, мадам Пинто, спасибо большое, право, НЕ СТОИЛО, цветы для меня не труд, а удовольствие!»

В Португалии сотни фольклорных костюмов. Значит, если мадам Пинто продержится на этом свете еще тридцать лет, я получу еще тридцать жутких кукол с закрывающимися глазами.

Время от времени мадам Пинто посещает меня, поэтому убрать их совсем я не могу. Но не держать же этих страшил в спальне! В комнате, куда заходят люди в поисках утешения, им тоже не место, вот я и устроила экспозицию на ступеньках лестницы, ведущей на второй этаж. Она находится за стеклянной дверью и видна из кухни. Заглянув выпить кофе, мадам Пинто обязательно бросает взгляд на свои подарки, желая убедиться, что они занимают положенные им места. Зимой темнеет рано, к пяти часам, и в сумеречном свете черные глаза кукол блестят, как у живых существ, оборки платьев топорщатся, и я воображаю, что вот сейчас они вырвутся из своих прозрачных плексовых саркофагов, сделают мне подсечку, и я покачусь вниз. Пересчитывая боками ступени.

В отличие от многих других вдов, мадам Пинто и мадам Дегранж никогда не разговаривают с мужьями. Они убираются молча, словно перестали общаться еще при жизни. Молчание этих женщин олицетворяет собой неразрывность связи с супругами. А еще они не плачут. Их глаза высохли миллион лет назад. Иногда дам «прорывает», и начинается беседа о погоде, детях, внуках и – можете себе представить? – правнуках!

Один раз я видела, как они смеются. Один разочек. Мадам Пинто рассказала мадам Дегранж, что внучка задала ей вопрос: «Бабуля, а что это – Туссен? Каникулы?» – и обе захихикали.

8

Да будет твой покой столь же
блаженным, сколь добрым было твое
сердце.

22 ноября 2016-го, голубое небо, десять градусов, 16.00. Похороны Тьерри Тесье (1960–2016). Гроб из красного дерева. Никакого мрамора. Могилу выкопали прямо в земле.

Присутствуют человек тридцать, в том числе Ноно, Элвис, Пьер Луччини и я. Пятнадцать коллег Тьерри Тесье из компании DIM возложили венок из лилий. На ленте надпись: «Нашему дорогому коллеге».

Сотрудница онкологической службы Макона – ее зовут Клер – держит в руках букет белых роз.

Рядом с женой усопшего стоят ее дети, дочери лет тридцать, сыну двадцать пять. На табличке они попросили сделать надпись: «Нашему отцу».

Фотографии Тьерри Тесье нет.

Еще одна гласит: «Моему мужу». Над словом «муж» – маленькая птичка, славка.

В землю вкопан большой крест, вырезанный из оливы.

Три лицейских товарища Тесье по очереди читают стихотворение Жака Превера:

Кот и птица

В деревне мрачные лица:

Смертельно ранена птица.

Эту единственную проживающую в деревне птицу

Единственный проживающий в деревне кот
Сожрал наполовину.
И она не поет.
А кот, облизав окровавленный рот,
Сыто урчит и мурлычет... И вот
Птица умирает.
И деревня решает
Устроить ей похороны, на которые кот
Приглашен, он за маленьким гробом идет.
Гроб девочка тащит и громко рыдает.
«О, если б я знал, – говорит ей кот, –
Что смерть этой птицы
Причинит тебе горе,
Я съел бы ее целиком...
А потом
Сказал бы тебе, что за синее море,
Туда, где кончается белый свет,
Туда, откуда возврата нет,
Она улетела, навек улетела,
И ты бы меньше грустила, и вскоре
Исчезла бы грусть
С твоего лица...»

Что ни говорите, а всякое дело
Надо доводить до конца!^[14]

Слово берет отец Седрик:

– Давайте вспомним, что Господь наш Иисус Христос сказал сестре упокоившегося Лазаря: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет»^[15].

Клер кладет букет белых роз к подножию креста. И все расходятся.

Я не знала Тьерри Тесье, но, если судить по горестному выражению лиц, он был добрым и хорошим человеком.

9

Его красота, его молодость улыбались миру, в котором он будто бы жил. Потом из его рук выпала книга, из которой он не прочел ни страницы.

По моему кладбищу рассеяно множество фотографий. Черно-белые, сепированные, цветные, современные и старинные. В тот день, когда была сделана каждая, никто из позировавших мужчин, детей, женщин и подумать не мог, что запечатленное мгновение будет представлять их в Вечности. Нас снимают на дне рождения и семейном обеде. Во время воскресной прогулки по парку, выпускного бала, свадебного пира, празднования Нового года. Фотограф ловит момент, когда человек выглядит чуть красивее обычного. Выбирает день, когда все собираются вместе, особый день, в который модель блещет элегантностью. В военном мундире, крестильной рубашечке или платье для первого причастия. И сколько же невинности во взгляде всех, кто улыбается нам с могильных памятников...

Часто накануне похорон в местной газете появляется некролог. Всего несколько фраз о жизни усопшего. Жизнеописание человека уместается в одной колонке. Чуть больше, если умирает коммерсант, врач или футбольный тренер.

Очень важно помещать на памятники фотографии, иначе остаются только имя, фамилия и даты. Смерть забирает у людей лица.

Красивейшая пара моего кладбища – Анна Лав Даан (1914–1987) и Бенжамен Даан (1912–1992). Они смотрят с обновленной – раскрашенной – свадебной фотографии, сделанной в 30-х годах. Два изумительных лица улыбаются фотографу. Она, солнечная блондинка с прозрачной кожей. Он, с лицом, словно бы вышедшим из-под резца

гениального скульптора. Глаза супругов сверкают, как звездчатые сапфиры. Их улыбки – подарок Вечности.

В январе я протираю фотографии заброшенных или редко посещаемых могил. Мочу тряпку в воде пополам со спиртом, а для табличек добавляю в воду винный уксус.

Работа занимает пять-шесть недель. Если Ноно, Гастон и Элвис предлагают свою помощь, я отказываюсь. Говорю: «Вам и так работы хватает!»

Я не услышала, как он подошел. Подобное редко случается. Шаги по гравию я улавливаю сразу и различаю, кто идет – мужчина, женщина или ребенок. Случайный прохожий или завсегдаятай. Этот человек ступает бесшумно.

Я начищаю девять лиц семьи Эсм – Этьена (1876–1915), Лоррен (1887–1928), Франсуазы (1949–2000), Жилия (1961–1993), Изабель (1969–2001), Фабриса (1972–2003), Себастьяна (1974–2011) – и вдруг чувствую спиной его взгляд. Оборачиваюсь. Не сразу узнаю лицо – он стоит против света.

И, только услышав голос – «Здравствуйте!» – понимаю, кто это. С запозданием на две-три секунды меня догоняет аромат корицы и ванили. Я не думала, что он вернется. Прошло два месяца с его первого появления перед моей дверью, выходящей на улицу. Сердце ускоряет темп. Шепчет: «Берегись...»

После исчезновения Филиппа Туссена ни один мужчина не заставлял мое сердце биться сильнее. После Филиппа Туссена оно не меняет ритм, совсем как старые, беспечно тикающие ходики.

Темп ускоряется только в День Всех Святых: бывает, я продаю аж сто горшков хризантем, вожу по кладбищам случайных посетителей, которые могут заблудиться в аллеях. Но сегодня мое сердце ведет себя... нетривиально. Из-за *него*. Кажется, я боюсь.

Стою с тряпкой в руке, а он смотрит на фотографии, которые я протираю, и робко улыбается.

– Это ваши родные?

– Нет, я просто делаю свою работу. – Слова теснятся в голове, не желают складываться во фразы. – В семье Эсм люди умирают молодыми. У них аллергия на жизнь, она отталкивает их.

Он кивает, застегивает верхнюю пуговицу пальто и снова улыбается:

- Холодно тут у вас.
- Да уж холоднее, чем в Марселе.
- Вы были там этим летом?
- Как и каждый год. Там я вижусь с дочерью.
- Она живет в Марселе?
- Нет. Путешествует по миру.
- Чем она занимается?
- Практикует волшебство. Профессионально.

На склеп семейства Эсм садится молодой дрозд и заводит громкую песню. Мне не хочется продолжать работу. Я выливаю воду из ведра на гравий, складываю внутрь тряпки и спирт. Когда я наклоняюсь, полы длинного серого пальто расходятся, приоткрыв алое, в цветах, платье. Комиссар успевает увидеть мой секрет – приметливый, не то что другие.

Я хочу отвлечь его внимание и напоминаю:

– Вы должны получить разрешение семьи, чтобы поставить урну с прахом матери на могиле Габриэля Прюдана.

– Не должен. Перед смертью он сделал распоряжение – заявил в мэрии, что мама будет покойся рядом с ним... Они все предусмотрели.

Комиссар чувствует неловкость. Трет плохо выбритые щеки. Рук его я не вижу – он в перчатках. Взгляд задерживается на мне чуточку дольше положенного.

– У меня есть просьба, – говорит он наконец. – Организуйте для моей матери нечто вроде праздника без праздника.

Дрозд улетел. Его напугала Элиана, подбежавшая, чтобы приласкаться.

– Я этим не занимаюсь. Обратитесь в похоронное бюро братьев Луччини, оно находится на улице Республики.

– Похоронное бюро пусть занимается похоронами! Мне нужно, чтобы вы помогли сочинить короткую речь для того дня, когда я привезу мамин прах. На «церемонии» никого не будет. Только она и я... Хочу сказать несколько слов, которые останутся между нами.

Он наклоняется, чтобы приласкать Элиану, и продолжает, глядя на нее, а не на меня:

– Я обратил внимание, что в регистрационных, то есть в похоронных журналах записаны речи, которые люди произносят у могилы. Что, если я возьму по паре фраз из разных... выступлений и напишу посвящение матери?

Он проводит рукой по волосам. Седины в них больше, чем в первую нашу встречу. Возможно, все дело в свете. Сегодня небо голубое, поэтому свет белый, а тогда оно висело низко над землей и хмурилось.

Мимо нас проходит мадам Пинто. Здоровается, бросает недоверчивый взгляд на комиссара. В наших местах, когда в дверь, калитку или ворота входит незнакомец, его сразу начинают в чем-то подозревать. На всякий случай.

– В 16.00 у нас похороны. Приходите ко мне в 19.00, и мы вместе напишем несколько строк.

Он явно испытывает облегчение, достает из кармана пачку сигарет, но не закуривает – спрашивает, где находится ближайший отель.

– В двадцати пяти километрах отсюда. Но за церковью стоит домик с красными ставнями, там живет мадам Бреан, она сдает комнату, которая всегда свободна.

Он меня не слышит – задумался о чем-то своем, потом говорит:

– Брансьон-ан-Шалон... Кажется, здесь произошла драма?

– Нас окружают драмы. Каждая смерть чья-нибудь драма.

Комиссар пытается вспомнить, но не может. Дует на пальцы, бормочет: «До скорого...», «Спасибо большое!» – и бесшумными

шагами идет по центральной аллее к ограде.

Мимо снова шествует мадам Пинто с лейкой. За ее спиной я вижу Клер, сотрудницу онкологического центра в Маконе, она направляется к могиле Тьерри Тесье, несет розу в горшке. Я догоняю ее.

– Здравствуйте, мадам, – говорит она. – Вот, хочу посадить этот кустик на могиле мсье Тесье.

Я зову Ноно. Он в домике, где могильщики переодеваются, принимают душ и стирают комбинезоны. Ноно уверяет, что запах смерти не цепляется к его одежде, но ни одно мое средство не способно избавить от грязи его башку.

Ноно начинает копать, следуя указаниям Клер, а Элвис поет: *Always on my mind, always on my mind...*^[16] Ноно подсыпает торфа, втыкает подпорку, чтобы роза росла прямо. Он сообщает Клер, что знал Тьерри и тот был отличным парнем.

Клер хотела дать мне денег, чтобы я время от времени поливала розовый кустик. Я пообещала ухаживать за цветами, но денег не взяла, потому что никогда этого не делаю.

– Бросьте монетки в копилку. Божья коровка стоит на холодильнике в моей кухне. На пожертвования я покупаю еду кладбищенским зверушкам.

– Хорошо, мадам Туссен. Знаете, я никогда не хожу на похороны пациентов, но Тьерри Тесье был очень милым человеком, нехорошо, если он будет лежать... как на пустоши! Я выбрала красную розу – она символизирует любовь, пусть составит ему компанию.

Я отвела Клер к могиле Жюльет Монтраше (1898–1962), одной из самых красивых на нашем кладбище. Вокруг растут цветы и кустарник, за которыми никто не ухаживает, но своей гармонией они радуют глаз в любое время года. Могила-сад. Случай и природа полюбовно договорились, и получилось чудо.

– Все эти цветы – лестница в небо, – сказала Клер и поблагодарила меня. Она зашла выпить стакан воды, затолкала

несколько банкнот в щель копилки и удалилась.

10

Говорить о тебе – значит заставлять тебя жить.

Молчание равносильно забвению.

Я встретила Филиппа Туссена 28 июля 1985 года, в день смерти гениального сценариста Мишеля Одиара^[17]. Может, поэтому нам с Филиппом почти не о чем было говорить. Диалоги выходили плоские, как энцефалограмма Тутанхамона. Он спросил: «Выпьем у меня?» – и я сразу согласилась.

Уходя из «Тибурена», я чувствовала на себе взгляды других девушек, топтавших у него за спиной с того момента, как он повернулся и посмотрел на меня. Их густо накрашенные глаза проклинали, осуждали на смерть, пока не умолкла музыка.

Я ответила: «Да» – и очутилась на мотоцикле в слишком большом шлеме на голове. Его рука легла на мое левое колено. Я закрыла глаза. Пошел дождь, и по моему лицу потекли капли.

Родители снимали Филиппу студию в центре Шарлевиль-Мезьера. Мы поднимались по лестнице, и я прятала пальцы с обгрызенными ногтями, втягивая ладони в рукава.

Мы вошли, и он набросился на меня, не сказав ни слова. Молчала и я. Красота Филиппа Туссена завораживала, как рассказ учительницы о «голубом периоде»^[18] Пикассо. От картин в альбоме у меня перехватило дыхание, и я решила, что остаток жизни проживу в голубом цвете.

Мы занимались любовью жадно и весело, и мое тело познало невероятное наслаждение. Я впервые отдавала себя «за просто так», а не в обмен на что-то, и надеялась, что будет следующий раз. Я осталась ночевать, и наутро моя мечта исполнилась. Прошел день, другой, третий. Все смешалось, дни перепутались. Моя память больше

не различает мелькающих мимо переезда вагонов – я помню лишь путешествие.

Филипп Туссен превратил меня в созерцательницу. В девочку, восхищенно глядящую на снимок голубоглазого блондина в глянцевом журнале и думающую: *Он мой, я могу спрятать его в карман.*

Я часами ласкала Филиппа, моя рука все время блуждала по его телу. Говорят, из красоты салата не сделаешь. Я поглощала красоту Филиппа на закуску, в качестве основного блюда и десерта. Если предлагалась «добавка», я не отказывалась. А он... позволял, ему нравилось владеть мною, все остальное не имело значения.

Я влюбилась. К счастью, у меня никогда не было семьи: я неизбежно бросила бы родных ради любовника. Филипп Туссен стал центром моего существования. Все чувства я направила на него. Если бы мне предложили поселиться внутри Филиппа, я бы согласилась без колебаний.

Однажды утром он предложил: «Переселяйся ко мне...» Три слова решили мою судьбу. Я сбежала из общежития втихаря, потому что была несовершеннолетней, и вошла в дом Филиппа с одним чемоданом, куда уместилось все мое тогдашнее имущество. Кое-какая одежда и первая кукла по имени Каролина. Она разговаривала, когда была новая («Здравствуй, мама, меня зовут Каролина, поиграй со мной...»), потом смеялась), но батарейки разрядились, а путешествия из одной приемной семьи в другую, служба опеки и нудеж соцработниц лишили ее голоса. Я взяла с собой школьные фотографии и несколько пластинок на 33 оборота: *Mythomane* и *La Notte, la Notte* французского певца, выходца из Алжира Этьена Дао, диск французской рок-группы «Индокитай», визитную карточку певца и композитора Шарля Трене «Море», написанную в 1943 году, а еще пять комиксов о Тинтине (*Голубой лотос, Драгоценности Кастафьоре, Скипетр Оттокара, Тинтин и Пикаросы, Храм солнца*) и жалкий портфельчик, на котором

расписались мои дружки-лодыри (Лоло, Сика, Со, Стеф, Манон, Иза, Анжело).

Филипп Туссен выделил мне место в шкафу и сказал:

– А ты забавная девчонка.

Я не желала разговаривать. Мне хотелось совсем другого.

Так вышло, что мы и потом были немногословны.

11

Укачай его самой нежной из твоих песен.

В моем стакане с портвейном плавает муха. Я вылавливаю ее и кладу на отлив окна, закрываю створку и вижу комиссара, поднимающегося по улице. Свет фонарей падает на воротник его пальто. Дорога, ведущая к кладбищу, обсажена деревьями. Внизу стоит церковь отца Седрика, за ней – несколько улиц центра города. Комиссар шагает быстро. Он выглядит совершенно замерзшим.

Хочу быть одна. Как и каждый вечер. Ни с кем не говорить. Читать, слушать радио, нежиться в ванне. Закрывать ставни. Облачиться в розовое шелковое кимоно. Ощутить покой и благодать.

Все время после закрытия кладбища принадлежит только мне. Я его единоличный властитель. Такая роскошь доступна лишь тем, кто не делит время с окружающими. И нет роскоши роскошней...

Я все еще одета в «зиму» поверх «лета», хотя этот час принадлежит «лету». Мне досадно, что я пригласила комиссара зайти и пообещала помощь.

Он стучит в дверь, как поступил в первый раз. Элиана не реагирует. Она уже приготовилась ко сну – свернулась клубком и закопалась в одеялки, расстеленные на дне корзины.

Комиссар улыбается, здоровается: «Добрый вечер!», впустив в дом сухой холод. Я захлопываю дверь, поддвигаю к нему стул. Он не снимает пальто. Хороший знак – надолго гость не задержится.

Я ни о чем не спрашиваю, достаю хрустальный стакан и наливаю ему портвейна – моего лучшего, урожая 1983 года, который привозит в подарок Жозе-Луиш Фернандез. Увидев коллекцию бутылок в буфете, который служит мне баром, посетитель бросает на меня ошеломленный взгляд больших черных глаз. Бутылок сотни: сладкие вина, односолодовый виски, ликеры, водки, крепленые напитки.

– Не подумайте плохого, я не спекулянтка, не торгую из-под полы. Все это подарки. Людям неловко дарить мне цветы. Ведь я сама их продаю. Мадам Пинто – только она! – каждый год привозит кукол, остальные покупают джемы и спиртное. Чтобы съесть и выпить все «подарки», мне понадобилось бы несколько жизней, поэтому бóльшую часть я отдаю могильщикам.

Комиссар снимает перчатки, делает первый глоток.

– Я угощаю вас лучшим из того, что есть в моей «винной карте».

– Божественный вкус!

Не могу объяснить почему, но я и вообразить не могла, что этот мужчина произнесет слово «божественный», смакуя мой портвейн: если не считать растрепанных, торчащих во все стороны волос, в нем нет ничего... фантазийного. Выглядит мой полицейский так же уныло, как и его одежда.

Я беру ручку, сажусь напротив и прошу его рассказать о матери. Он задумывается, вздыхает, говорит:

– Она была блондинкой. Натуральной...

Конец рассказа.

Комиссар снова обводит взглядом белые стены, как будто надеется увидеть картины старых мастеров. Время от времени он подносит ко рту стакан, делает маленький глоток, как дегустатор, и постепенно расслабляется.

– Я никогда не умел составлять речи. Думаю и говорю в стиле полицейского рапорта или протокола. Могу сказать, есть у человека шрам, родинка или бородавка, хромает он или нет, назвать размер обуви... На глаз определяю рост, вес, цвет глаз, особенности кожного покрова, особые приметы. А вот чувства не понимаю. Разве что точно знаю, когда от меня пытаются что-то скрыть...

Он почти допил, и я плеснула ему еще. Отрезала несколько ломтиков конте^[19] и разложила их на фарфоровой тарелке.

– На секреты у меня нюх, тут я мастер... Сразу подмечаю жест, выдающий преступника. Во всяком случае, так я думал раньше, пока не узнал последних распоряжений матери.